
Ева Разумовская
Мозаика страсти
В любви, как и в убийстве, важна не сама развязка, а та невыносимо долгая секунда, когда занесённый нож — или протянутая рука — замирает в дюйме от цели.
18+
КНИГА 1

Ева Разумовская
Мозаика страсти

https://litres.ru/74789494
SelfPub; 2026

Аннотация

В любви, как и в убийстве, важна не сама развязка, а та невыносимо долгая секунда, когда занесённый нож — или протянутая рука — замирает в дюйме от цели.

«Мозаика страсти. Книга 1» — это не сборник сентиментальных историй. Здесь нет места долгим совместным завтракам. Вместо этого — анатомия искушения, застигнутого врасплох катастрофой, временем или чужой тайной.

Десять новелл, похожих на путешествие по чужим замочным скважинам. Душные питерские каморки и уездные бани, Москва Серебряного века, Киото шестидесятых, предвоенный Берлин, заснеженная северная заимка и байконурская степь накануне космического старта.

У этих историй разные декорации и разные эпохи, но их объединяет одно: близость на самом краю, превращённая в отчаянный бунт плоти против надвигающегося небытия. Здесь прикосновение — единственный способ выкрасть у вечности свою долю жизни. Это психологическая проза о страсти на грани, где за каждой дверью слышен стук сапог, вой метели или грохот приближающейся катастрофы.

Ева Разумовская
Мозаика страсти

Оптический обман

Франц снимал крошечную мансарду на Моцштрассе исключительно ради вида из окна — вернее, ради одного-единственного окна в доме напротив. Будучи молодым сценографом без гроша в кармане, он привык воспринимать жизнь как череду мизансцен, где свет и тень играли куда более важную роль, чем диалоги. Берлин 1931 года, исходивший бензиновым угаром, нищетой и предчувствием катастрофы, заставлял искать пристанища в вымышленных мирах.

Его личным убежищем стала незнакомка из третьего окна слева. Он наблюдал за ней три недели сквозь линзы старого цейсовского бинокля. Это не было банальным подглядыванием; для Франца это был процесс чистого, эстетического конструирования. Он изучал, как она двигается, как пьёт вечерний цикорий, как оправляет юбку. Она была его живой моделью, идеальным силуэтом в раме чужого окна. Но Франц и представить не мог, что его оптический театр однажды решит сломать четвертую стену и шагнуть прямо в его личное пространство, превратив холодное созерцание в обжигающее осязание.

Свинцовые берлинские сумерки, пропитанные сыростью

предноябрьского дождя, опускались на асфальт, превращая улицу в глянцевую ленту, на которой неоновые вывески аптек и синематографов расплывались кроваво-красными и лимонными кляксами. В этот час, когда город менял дневную чинность на двусмысленный полумрак кабаре, Франц стоял у высокого окна своей мансарды. В комнате не горел свет, и лишь уголек его сигареты время от времени выхватывал из темноты кончик его носа и нервные, испачканные угольным карандашом пальцы. В этот вечер Эльза — так он назвал её про себя — не стала задергивать тяжелую штору из дешевого плюша. В её комнате горел лишь абажур, отбрасывавший на обои цвета блеклой розы огромный, текучий силуэт. Она стояла спиной к окну, расстегивая пуговицы на строгом шерстяном платье.

Франц прильнул к окулярам, едва дыша. Резкость была идеальной: он видел, как ткань расступилась, обнажая узкую, бледную спину с четкими бугорками позвонков. Эльза повела плечами, и платье с тихим шорохом опало к её ногам, образовав темную лужицу на паркете. Она осталась в одной шёлковой комбинации оттенка увядшей фиалки, которая облегала её с безжалостной точностью. Она повернулась вполоборота, и Франц почувствовал, как сердце его пропустило удар: сквозь полупрозрачную тонкую ткань отчётливо проступали тёмные бутоны её сосков.

Она подняла руки, чтобы вынуть шпильки, и этот жест — излом локтей, натяжение кожи на рёбрах — показался

Францу верхом изощрённой жестокости.

Внезапно Эльза замерла. Она повернула голову прямо к его окну. На долю секунды Францу показалось, что её пристальный, чуть насмешливый взгляд пробил тридцать метров разделявшего их сырого воздуха. Она медленно, демонстративно опустила бретельки комбинации. Ткань сползла, высвобождая её груди — небольшие, упругие, с розовато-коричневыми сосками, которые тут же налились от прикосновения холодного воздуха. Затем она погасила свет.

Мансарда Франца погрузилась в полную темноту. В горле у него пересохло. Он отложил бинокль, чувствуя неистовый прилив крови. Прошло не более пяти минут, когда в тишине коридора раздался тихий, неуверенный стук в его дверь. Франц рванул задвижку. На пороге стояла она. На ней был накинут лишь мужской дождевик, с воротника которого капала вода, а из-под подола виднелись голые лодыжки. Её лицо, бледное, с влажными от дождя волосами, дышало той дерзкой решимостью, которая граничит с безумием.

— У вас есть спички? — спросила она по-немецки, но в её голосе слышался едва уловимый балтийский акцент. — Мой камин совершенно остыл. И мне надоело, что вы смотрите на меня издалека.

Франц замер. На долю секунды его оптический театр раскололся: живая женщина, стоящая перед ним, пахнущая дождевой сыростью и настоящей, уличной реальностью, никак не совпадала с тем идеальным силуэтом в цейсовских

линзах, к которому он привык. От неожиданности он выронил сигарету. Уголёк прочертил в темноте короткую искру и погас на полу. Франц посмотрел на её влажное, бледное лицо, на капли воды, сбегающие с брезентового капюшона на голые ключицы, и это секундное замешательство показалось ему вечностью.

— Да… спички, — хрипло повторил он, чувствуя, как глупо и беспомощно звучит его собственный голос.

Вместо того чтобы искать коробок, он сделал шаг вперёд. Оцепенение сменилось резким, лихорадочным толчком крови. Франц протянул руку и осторожно, словно всё ещё проверяя, не обман ли это зрения, коснулся её запястья. Рука её была ледяной. Осязаемый холод этой живой кожи подействовал на него сильнее любого вина. Эльза не шелохнулась, лишь чуть приподняла подбородок, глядя на него в упор с той же дерзкой, пугающей решимостью.

Тогда он притянул её за плечи, втаскивая в душную темноту мансарды, и ногой захлопнул тяжёлую дверь. Комнату вновь заливал лишь ядовито-зелёный, мерно пульсирующий свет уличной газоразрядной вывески.

Дождевик скользнул с её плеч на пол тяжёлым брезентовым комом. Под ним действительно обнаружилась лишь та самая фиалковая комбинация, которую он только что разглядывал сквозь стёкла «Цейса». Теперь, без тридцатиметровой дистанции сырого берлинского воздуха, Франц видел, как мелко вздрагивают от холода её плечи. Он увлёк её в

глубь комнаты, к широкой кушетке, заваленной картонными эскизами. Бумага с сухим хрустом полетела на паркет, освобождая место для их внезапного, немыслимого поединка.

Когда Франц опустился на кушетку, Эльза не легла рядом — она упёрлась ладонями ему в грудь, заставив откинуться на подушки, и сама опустилась сверху, оседлав его бёдра. Их первый поцелуй был робким и жадным одновременно: она наклонилась так низко, что её влажные волосы коснулись его щёк, и он почувствовал вкус дождевой воды, табачного дыма и горькой берлинской помады. Его язык проник между её зубов, исследуя горячую гладкость её рта, пока её быстрые, холодные пальцы расстёгивали пуговицы на его рубашке и ремень брюк.

Время, доселе упорядоченное его созерцанием, окончательно сорвалось с рельсов. Эльза выпрямилась над ним и одним плавным движением стянула через голову фиалковый шёлк комбинации, отбросив её в темноту. Ядовито-зелёный отсвет уличной рекламы, пробивавшийся сквозь высокое окно, полосами ложился на её обнажённые плечи, тонкие ключицы и грудь, окрашивая бледную кожу в призрачные, театральные тона.

Она направила его внутрь себя и опустилась медленно, не сводя с него пристального, чуть насмешливого взгляда. Всякий раз, когда Франц пытался зажмуриться от острого, обжигающего жара, она перехватывала его запястья и прижимала к кушетке, заставляя смотреть в упор — без оптики,

без спасительной дистанции, лицом к лицу. Близость их была пронизана лихорадочным, рваным ритмом ночного Берлина: Франц чувствовал каждое судорожное сжатие её тела, ловил губами её прерывистый, горячий вздох и подчинялся этой слепой, неистовой скорости. Этот мерный пульс зелёного света на стене словно подгонял их, заставляя дышать чаще, пока напряжение не дошло до самого предела. Эльза вдруг замерла, судорожно вытянувшись над ним, и вслед за этим глубоким, долгим спазмом наслаждения, который подчинил их обоих, обжигающая волна разрядки разом стерла и этот призрачный свет, и саму комнату.

Когда реальность вернулась, они лежали в темноте среди измятых рисунков, слушая, как остывает их дыхание и как за окном продолжает шуметь берлинский дождь. Эльза слабо улыбалась, её рука лениво перебирала пуговицы на его брошенной рубашке. На полу, у самого окна, лежал тяжёлый полевой бинокль. Линзы его были обращены к окну, и в них, как в каплях чистой воды, отражались зелёные и красные всполохи далёких светящихся вывесок.

Франц смотрел на её профиль, ставший в полумраке удивительно хрупким, и понимал, что театр окончен. Завтра окно напротив снова будет пустовать или задёрнется тяжёлым плюшем, но оптический обман этой ночи уже навсегда переменил свойства его собственной памяти. Иллюзия растаяла, уступив место тяжёлой, осязаемой реальности, оставившей на его коже запах влажного шёлка, табачного дыма и горько-

ватой помады.

Крик цикады

Киото, лето 1964 года.

Август в Киото — это не время года, а состояние вещества. Воздух густеет до плотности расплавленного воска, и в нём вязнут звуки: стук деревянных сандалий, плеск воды из бамбуковой трубы, редкие гудки рикш. К полудню город затихает, отдавшись на милость цикад. Их стрекот не прекращается ни на секунду — он входит в кровь, в сон, в мысли, и к третьей неделе перестаёшь понимать, где кончается он и начинается твоя собственная тревога.

Джон Мэтьюз, переводчик американского посольства, снимал комнату в старом доме на окраине, у подножия холма, где стояли могилы. Дом принадлежал семье каллиграфа Ито — старика с руками в чернильных прожилках, который за всё время не сказал Джону и двух десятков слов. Зато его дочь, Тиэко, говорила с ним без единого слова.

Она была замужем. Муж, Кэндзи, служил в торговой компании в Осаке и возвращался домой раз в неделю — по пятницам, к ужину, всегда с гостинцем и всегда без предупреждения. Это было известно всем. И это знание, разлитое в воздухе, как запах лака и старого дерева, делало каждое движение Тиэко вдвое весомее.

Джон впервые заметил её у пруда с карпами, когда она полоскала кисти отца. Вода стекала с волосков туши чёрными струйками, и она смотрела на неё так, будто читала по воде строку, которую нельзя произнести вслух. Потом она стала приносить ему чай. Потом — чай с персиком, разрезанным на восемь долек. Потом — просто персик, лежавший на ладони, как маленькое солнце. Потом ладонь задерживалась на мгновение дольше, чем требовало приличие. Ничего не было сказано. Всё было решено.

Тот день начался с предупреждения о тайфуне. Старик Ито велел закрыть ставни и ушёл к соседу — укрепить сарай. Джон остался в доме один с Тиэко и с цикадами, которые к закату кричали уже неистово, предчувствуя грозу.

Она пришла на веранду, когда небо налилось свинцом. На ней была светлая юката с рисунком диких вьюнков, а волосы, обычно собранные в узел, струились по спине. Она опустилась перед ним на колени — и это было единственное движение, всё остальное случилось беззвучно, как смена времён года.

Она развязала его галстук, и шёлк скользнул с шеи, как снятая кожа. Распахнула рубашку — медленно, как разворачивают свиток, боясь смазать тушь, — и провела ладонью по его груди, от горла вниз, останавливаясь на каждом ребре, будто считала их. Джон потянулся к ней, но она приложила палец к его губам: здесь и сейчас говорить нельзя. Дом слушал.

Она развязала узкий пояс оби, и лёгкая юката скользнула с плеч, обнажив ключицы, тонкую ложбинку между ними, тень под грудью. Она взяла его руку и положила себе на живот, чуть ниже пупка, и Джон почувствовал, как под кожей бьётся горячая, тугая жила. Тиэко выдохнула — впервые за всё время вслух — и этот выдох был длиннее, чем нужно, как будто из неё выходил весь август.

Они опустились на татами. Циновка была прохладной и шершавой, стебли игусы впивались в лопатки — единственная реальность, кроме её ладоней. Тиэко не спешила. В её движениях была та же точность, что в ударах кисти по бумаге: один мазок — шея, другой — ключица, третий, самый долгий, — вдоль позвоночника, до самой поясницы. Она наклонилась и поцеловала его в изгиб плеча, и Джон почувствовал зубы — не укус, а пробу, как проверяют спелость персика.

Она села на него сверху, и юката сползла окончательно, обнажив бёдра, гладкие и прохладные, как речная галька. Джон взял её за талию — пальцы не сошлись — и она повела, задавая ритм, медленный и глубокий, как удары сердца в жару. Её волосы падали на его лицо, пахли камфорой и дымом благовоний, и сквозь эту завесу он видел её глаза: они были открыты, устремлены куда-то вниз, внутрь себя, и в них не было ни нежности, ни страсти — только сосредоточенность мастера, доводящего линию до конца.

Она ускорилась. Дыхание сбилось, стало прерывистым, и

на шее под кожей забилась жилка — часто-часто, как крылья пойманной цикады. Джон поднял руки и накрыл её грудь ладонями; соски были твёрдыми, как косточки вишни. Она запрокинула голову, и из горла вырвался звук — не стон, а низкое, гортанное «ах», оборвавшееся на выдохе. Её тело сжалось вокруг него, и это было так внезапно и так сильно, что Джон почувствовал, как земля под татами качнулась — или это тайфун уже дошёл до них, или это кровь ударила в виски.

Он перевернул её на спину — она позволила, — и вошёл глубже, и она обхватила его ногами; влажный след её тела остался на татами, тёмный, неровный, похожий на иероглиф, который Джон не смог бы прочесть, даже если бы знал все слова мира. Цикады за стеной захлебнулись криком, дождь ударил в крышу сплошной стеной, и в этой стене звука и воды его настигло освобождение — глухое, ослепительное, выбившее воздух из лёгких, заставившая его сдавленно стиснуть зубы, уткнувшись лицом в её шею, пахнувшую потом и лавандой.

Она лежала под ним, тяжело дыша, и её рука медленно гладила его затылок. На секунду Джону показалось, что время остановилось — что они останутся здесь, на прохладной циновке, пока за окном бушует тайфун, и ничто не потревожит их.

Потом наружная решётчатая дверь косидо отъехала в сто-

рону.

Тиэко не вздрогнула. Она поднялась одним плавным движением — Джон успел увидеть её спину, влажную, с прилипшими волосами, — и на лице у неё не было ни страха, ни стыда, только та ледяная невозмутимость, с какой поправляют цветок в вазе, когда в доме начался пожар.

— Кэндзи, — сказала она в сторону коридора, и голос её звучал ровно, как вода в каменном русле. — Ты рано.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.